

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ-ТАГАНСКИЙ



ТРИУМФ И НАВАЖДЕНИЕ

РАССКАЗ

*Записки о Театре на Таганке
(Отрывки из книги)*

Хорошая новость

— Володя, только что говорил с Любимовым. Он берёт тебя в театр. Поздравляю!

Большой, чуть неуклюжий Насонов, услышав от Борисова эту новость, заулыбался и шёпотом ответил:

— Спасибо, Анатолий Иванович, новость — лучше не придумаешь. Думал, что он Виктора возьмет, а я не подхожу.

— Что за глупости, — отрезал Борисов, — ты понравился. Он лично мне об этом сказал. Так что выбирай, Володя: Москва или Ленинград?

ИВАНОВ-ТАГАНСКИЙ Валерий Александрович родился в 1943 году в Никологорске Ивановской области. Окончил Рижское художественное ремесленное училище, театральное училище им. Щукина, Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Виктора Розова). С 1966 года по 1977-й — ведущий артист Московского театра на Таганке. С 1979-го по 1982 год — главный режиссёр академического театра им. Лермонтова в Алма-Ате. Автор нескольких книг прозы. По его роману “Семь Отечества” вышел 4-серийный телесериал “Репортёры” (режиссёр Ю. Кара). Многолетний ведущий телепередачи “Искатели” на “Первом канале”. Лауреат Всероссийских конкурсов артистов-чтецов. Секретарь правления Союза писателей России, ответственный секретарь по связям с общественностью РОО МГО СП России, заместитель руководителя международного отдела МСПС. Вице-президент Петровской академии наук и искусств. Заслуженный артист России. В книге “Триумф и наваждение” он фигурирует как Виктор Самойлов.

— Понятно. Я склоняюсь к Москве.

— В твоём случае склоняться надо не к городу или деревне — к театру. Понял?

— Понял, Анатолий Иванович.

— Вот это лучше. Между прочим, Любимов сообщил мне по секрету, что у них на улице Чкалова, неподалёку от театра, появилось общежитие. Понял? Вам бы с Самойловым следовало побывать на Таганке, появиться на репетиции, проявить, как говорится, энтузиазм и заинтересованность. Между прочим, театр начинает репетировать “Десять дней, которые потрясли мир” Джона Рида, потом будет “Пугачёв” Сергея Есенина. На твоём месте надо семь раз отмерить, Володя, и один раз отрезать.

После завершения сессии Самойлов и Насонов наконец-то собрались на Таганку. Шёл упорный слух, что “Десять дней, которые потрясли мир” — новый шедевр Любимова. Узнав, что ребята идут в театр, Алиса и Людмила написались пойти за компанию.

Ещё у метро все четверо с разинутыми ртами устали на разудальи концерт, устроенный “зазывалами” из театра. Среди них были Высоцкий, Золотухин, но главное — двое их сокурсников, Хмельницкий и Васильев. Актёры Таганки, увидев группу щукинцев, стали исподволь их приветствовать. Все четверо с удовольствием постояли неподалёку от “зазывал”, на виду проходящей толпы. Перед входом в театр бушевало море народа. Как-то старушки бросились к ним навстречу и принялись спрашивать лишний билетик.

Перед входом в фойе народу было ещё больше. Все перекрикивали друг друга, кто-то пробивался в кассу или к окошку администратора. В эту толпу нырнул Насонов и с трудом получил на фамилию “Хмельницкий” пропуск на четырёх студентов-щукинцев.

Спектакль начинался не только у метро, но и в фойе театра. Здесь все было украшено революционной символикой, рекламой агитпропа, а на видном месте был водружён ящик для писем с предложением оценить спектакль: нравится — не нравится. Потолкавшись в буфете и поглазев на знакомые лица, студенты, видя, что до спектакля остались считанные минуты, решили пройти на балкон, как вдруг увидели директора театра Дупака с каким-то мужчиной. Они вышли из боковой двери внутренней части театра и направились в первую дверь партера. Зрители стали оглядываться на проходившую пару и о чём-то переговариваться. Первым, кто понял, в чём дело, был Самойлов.

— Ребята, посмотрите в ту сторону, — он показал рукой в направлении входной двери в зрительный зал. — Это, кажется, Молотов!

Действительно, в зал вошёл Вячеслав Михайлович Молотов в сопровождении Дупака и ещё одного мужчины крепкого телосложения. Зрители тотчас узнали старого партийного деятеля и стали перешёптываться.

Молотова усадили в седьмом ряду. Выйдя в фойе, Дупак заметил ошалевших от встречи с Молотовым студентов и подозвал Самойлова:

— Самойлов, ты что не садишься? Нет места?

— Есть, контрамарка на балкон, — смущённо ответил Самойлов.

Дупак подозвал студентов ближе, подвёл к двери и указал на свободные места в восьмом ряду сразу за Молотовым.

— Идите туда, только не мешайте Вячеславу Михайловичу.

Места были забронированы для охраны, а с ним приехал только один человек.

Ошалевшие от счастья ребята быстро протиснулись на свободные места и уселись позади живописной лысины Молотова.

Спектакль начинался с показа мавзолея Ленина и смены караула. Молотов потянулся вперёд, словно ему предстояло встретиться с Ильичом. Насонов не удержался и негромко хмыкнул. Тотчас к ним повернулся охранник и строго взглянул на всю компанию. Спектакль шёл с нарастающим успехом, и вскоре все забыли об охране персонального пенсионера и кагэбэшном церемониале. То и дело раздавались аплодисменты, смех и разные другие непредвиденные реакции.

“Десять дней, которые потрясли мир” пролетели, как мгновение, вскоре Дупак вновь оказался рядом с Молотовым. Все пошли наверх, к любовскому кабинету, живо обсуждая спектакль.

— Книгу я помню, но это всё по-другому. Какой-то винегрет, но забавно, — комментировал спектакль Молотов.

В кабинете был накрыт стол и переливались огоньками разные напитки.

Насонов и Самойлов на правах будущих актёров Театра на Таганке потолкались в прихожей и, решив разойтись по домам, начали спускаться к гардеробу. Но тут вновь появился Дупак и, заграбастав руками ребят, втолкнул их в кабинет главного режиссёра. Народу оказалось немного, и актёры робко примостились у стенки. Но Любимов, указав на них, громко заявил:

— А-а-а! Вот наши новобранцы, Вячеслав Михайлович. Выпускники Щукинского училища Самойлов и Насонов. Пришли с вами познакомиться.

Молотов вежливо кивнул в сторону ребят и принял чашку чая, поданную ему администратором театра. Все, кто был ближе к столу, принялись разбирать печенье, конфеты, кто был посмелее, принялись наливать вино. Все ждали, что скажет о спектакле Молотов. Вячеслав Михайлович почувствовал, что пора что-то сказать, и повернулся так, чтобы всем было его видно.

— А у вас весело! — сказал он, и все вдруг почувствовали себя счастливыми. — Революция — дело жёсткое, даже жестокое, а в вашем варианте — это праздник, веселье, огонь... В книге Джона Рида, конечно, есть огонь, но у вас он какой-то задиристый, почти цирк... Ничего общего с книгой Джона Рида нет. Я ведь полистал её перед приездом к вам.

Любимов поднял указательный палец и, оглядев всех, сказал:

— Вот. Слышали? Вы настоящий зритель, Вячеслав Михайлович. Правильно, Вячеслав Михайлович, в спектакле ничего общего нет с книгой. Это спектакль аттракционов, сделанный для полемики против театрального однообразия. Конечно, МХАТ — великий театр, но танцевать только от него для других театров, без такой труппы, — гибель. И мы в противовес решили показать всю широту театральной палитры.

— Почему обязательно так? — вдруг с интересом спросил Молотов.

— Театр может быть весьма разнообразен. В нём могут существовать все жанры: то ходоки — натуралистический театр, то буффонада, то цирк, то театр теней, театр рук — то есть всё, что может подсказать фантазия. Важно, чтобы зритель в это поверил и полюбил это.

— Вам это удалось, я смеялся от души. Я и не мог представить, что нашу революцию можно показать таким образом. Привычно, что Ленин всё время ходит на сцене. А тут только за кадром, и эта скромность не сделала его менее великим.

Вячеслав Михайлович улыбнулся и начал оглядываться.

— Сзади меня сидела молодёжь, они так хохотали, что и мне пришлось от них не отставать. Вот этот молодой человек и сидел за мной. Кажется, вы, Юрий Петрович, представили его как Самойлова?

— Да, это наш новый актёр Виктор Самойлов.

— До войны был известный актёр Евгений Самойлов, не родственник ли он вам? — спросил Молотов.

— Нет, мы однофамильцы, — смущённо ответил Самойлов.

— А как вам спектакль? — неожиданно задал вопрос Молотов.

— Мне? — переспросил Виктор, словно вопрос этот был адресован кому-то стоящему рядом.

— Да, вам, вы так над моим ухом смеялись, что хочется понять вашу реакцию и вкус.

— Во-первых, уважаемый Вячеслав Михайлович, вы тоже смеялись и хорошо принимали спектакль, а во-вторых, я слышал, как вы громко сказали своему спутнику, который стоит сейчас за дверью, что Джон Рид был бы счастлив, увидев такой спектакль. Я абсолютно с вами согласен. С той только разницей, что я смотрел его только лишь на предмет возможного участия в этом спектакле.

— А кого бы вы хотели сыграть в этом спектакле, Самойлов? — неожиданно спросил Молотов.

— Если бы от вас это зависело, Вячеслав Михайлович, я бы сказал, но говорить самому об этом не совсем этично.

— Почему? — громко спросил Любимов.

— Слишком высокая планка для новобранца.

Виктор сделал странное ударение на последнем слове, и Любимов, заметив это, спросил напрямую:

— И что вы считаете высокой планкой?

— Высокой планкой в этом спектакле является всё, — услужливо заметил один из актёров по фамилии Медведев.

— Так не бывает! — резко ответил Самойлов. — Но чтобы не кокетничать, я скажу прямо: я хотел бы сыграть Керенского.

— Понятно, он хочет сыграть главную роль, — вновь подал голос Медведев.

— А что же, мечтать не возбраняется, — возразил Любимов. — Это вполне вероятно. Кстати, на некоторые роли мы сделаем открытый конкурс. Пожалуйста, участвуй. Согласен?

— Согласен! — покраснев до ушей, ответил Самойлов.

— В таком случае, я пришлю на ваш дебют внука, — подхватил Молотов. — Можно, Юрий Петрович?

— О чём вы говорите, Вячеслав Михайлович.

И тут Любимов неожиданно предложил:

— Кстати, Вячеслав Михайлович, мы намерены пригласить вас осенью на новую премьеру, близкую к теме “Дней”.

Он посмотрел в сторону историка Логинова и, как бы согласовывая с ним это предложение, уверенно произнёс название:

— Этот спектакль будет называться “На все вопросы отвечает Ленин”.

Воцарилась напряжённая тишина. И вдруг Вячеслав Михайлович негромко, но отчётливо заметил:

— На все вопросы не ответил даже Иисус Христос.

Реплика была короткой, но впечатляющей. Даже Любимова она смутила. Но он тотчас нашёлся и, словно не услышав, продолжал:

— Один талантливый драматург, да вы его, наверное, знаете, Вячеслав Михайлович, Эрдман...

— Помню, помню... Автор “Мандата”, большой юморист, — без энтузиазма отреагировал Молотов.

— Так вот, он советует поставить “Пугачёва” Есенина. Как вы относитесь к Пугачёву, Вячеслав Михайлович?

— Я с ним не был знаком. Кажется, он был турецким агентом, но мы его поддерживали. Человек он был наш. А вот Есенин — тот всегда был попутчиком. Но я его любил, несмотря на все его выкрутасы. Поэты — народ особый. Они, как дети: гладить — горы свернут, ругаешь — капризничают.

Молотов помолчал, но видя, что возникла неясность, добавил:

— Но ведь с Есениным, помню, ещё Мейерхольд носился. У него не получилось, может быть, у вас получится. Во всяком случае, это лучше, чем “На все вопросы отвечает Ленин”. Нельзя вождя мирового пролетариата ставить в глупое положение. В Евангелии сказано: “Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир”. Вот когда такое чудо у нас получится, тогда ставьте, а пока я бы потерпел пару десятков лет. Не надо забегать вперёд и раньше времени отвечать на все вопросы. Жизнь не обгонись! Вот вы, Юрий Петрович, имеете право в театре показывать невозможное?

— В театре можно всё, но только при одном условии: если зритель в это поверит.

— Вот и я об этом же. Время покажет это всё: кто мы, зачем мы и, в том числе, будем ли мы жить при коммунизме. Впрочем, я пенсионер, и моё мнение сегодня не директивное. Мы ведь с вами просто пофилософствовали, не так ли?

Все присутствующие загудели, раздались слова благодарности и аплодисменты. Молотов, несмотря на почтенный возраст, легко встал и начал раскланиваться в разные стороны.

— Спасибо вам всем за спектакль, нам уже пора.

Он пожал руку Любимову и, проходя мимо Самойлова, неожиданно сказал:

— А вам, молодой человек, я желаю успеха. Не смущайтесь, я ведь тоже играл в драмкружке, а потом стал даже премьер-министром.

На следующий спектакль “Десять дней, которые потрясли мир” Виктор Самойлов запасся биноклем, шариковой ручкой и, усевшись на последнем ряду, стал изучать спектакль, что-то пометая на полях маленького блокнота.

Это “литературное колдовство” заметил Любимов. На следующий день он вызвал Самойлова и сообщил ему, что его вводят в два спектакля: на роль друга Галилея Сократо и на роль солдата в карауле у мавзолея Ленина.

На вопрос, будет ли он играть Керенского, Любимов ответил так, что Самойлов запомнил это на всю жизнь:

— Сегодня театр нуждается в вас именно в этом ролевом репертуаре. Запомните, это называется производственной необходимостью. Поработайте сегодня, дорогой мой, на театр, завтра он начнёт работать на вас.

Любимов в больнице

В комнате много цветов, стало светлее и привлекательнее. У изголовья кровати на тумбочке воцарились книги, здесь же рядом мини-макет декорации к опере “Князь Игорь”.

Рядом с Любимовым гость — историк, специалист по Древней Руси Семён Семёнович. Они уже выпили немного коньяку, поэтому разговор перебрасывается с одного на другое.

— А вот эта река, Чир, — глубокая? — надрезая ножом апельсин, спросил Любимов.

— Чир? Надо узнать. Я там не плавал. А зачем вам глубина? Я понимаю, глубина замысла, а реки-то — не всё ли равно.

— Э, голубчик Семён Семёнович, это совсем не всё равно. Постановщику важно знать самочувствие Игоря перед битвой. Иногда, ставя оперы, я даже примерял костюмы, чтобы почувствовать пластику и стать. В Италии я прикрепил певцов ремнями и поднял их высоко над планшетом сцены, и они пели. Один знаменитый тенор возмутился: заявил, что в этом положении его не заставил бы петь даже Сталин. На что я ответил ему, что при Сталине вы запели бы и на люстре.

Любимов встал и, расправив плечи, прошёлся по комнате.

— Или другое: одно дело — князь Игорь рано утром искупался, так сказать, сделал омовение, помолился, подготовился к сражению... А другое — в бой сходу, после сообщения выставленных в степи передовых отрядов, которые обязаны в целях упреждения противника прислать вестового в командный пункт. В последнюю войну важно было не дать противнику захватить выгодные рубежи, помешать обеспечению развёртывания его войск, овладеть важными узлами дорог, населёнными пунктами, горами и перевалами...

— Юрий Петрович, вы что, маршалом были во время войны? Откуда такие знания?

— Маршалом не был, но две войны — финскую и Отечественную — за своими плечами имею. Это помогло мне когда-то поставить “Павших и живых”.

— Кстати, надо перекурить! Вы не разрешите закурить, Юрий Петрович?

— А зачем вам курить? — резко ответил Любимов с каким-то кавказским акцентом. — Лучше пейте чай! Хотите ещё рюмку коньяку? — явно кого-то изображая, закончил режиссёр.

Семён Семёнович, почувствовав, что хозяин играет какую-то роль, недоумевающе уставился на него.

— Не пугайтесь, профессор. Вы мне напомнили одну историю, которую я пережил во время постановки “Павших и живых”. В те дни до закрытия театра я был на воробьиный клюв. Меня все покинули, “Павших...” закрыли. А мы тогда играли “Десять дней” в театре Маяковского. Высоцкий пришёл пьяный. Неожиданно сообщили, что на спектакле будет Микоян.

Я сижу один в администраторской и мрачно думаю: что мне делать? Никто мне не звонит — телефон умер...

Вдруг является некий человек и говорит:

— Вы администратор?

— Нет, а что вы хотите? — спрашиваю я.

— Отвечайте первым, ведь вас спрашивают. Итак, кто вы?

— Я режиссёр Любимов, член КПСС. Нахожусь здесь по согласованию с руководством театра Маяковского.

— Извольте пройти с нами.

— Куда? И зачем?

— Сюда приедет известный человек.

— Я его знаю?

— Возможно. Скорее всего, да. Вам придётся его встретить. Будет говорить с вами — отвечайте. Но лучше молчите. Он не любит, когда говорят другие. Подскажите, куда его посадить. Проведите нас в зал. Посмотрим места.

Я провёл их в зал и встал поодаль. Они осмотрели партер и стали решать, где посадить гостя. Между ними начался долгий и сквалыжный разговор.

— Давайте в первый ряд посадим, — вырвался с предложением кагэбэшник помоложе.

— Нет, опасно, — сказал человек постарше и, видимо, повыше званием. — Место на виду. Все будут глазеть в спину, не повернёшься. Артисты тут могут крутиться, ещё слюной заденут.

И вдруг вспомнили обо мне и обратились за советом:

— Они в зал не прыгают у вас?

— Кто?

— Ваши артисты в зал не выходят отсюда? — и человек указал на авансцену.

Я им говорю:

— И прыгают, и слюна, пардон, летит, но зрители до сих пор не жаловались. Им нравятся наши артисты.

— И куда мы тогда нашего человека посадим?

Я им предложил классический вариант — шестой-седьмой ряд.

— Вы что, с ума сошли? Это ведь посередине народа. Какой-нибудь олух ещё с вопросами полезет.

— Посадим вон в ту ложу. Там неопасно.

А я им в шутку говорю:

— Правильно, это царская ложа.

— Без вас догадались! — отрезал старший по чину.

Оказывается, в этот день в театр должен был приехать Анастас Иванович Микоян — Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Когда правительственная машина подъехала к центральному входу, Любимова вытолкнули встречать важного гостя. Из машины вышел Микоян. Он весьма любезно поздоровался с режиссёром и прошёл в отдельную комнату. После важной встречи Любимов направился за кулисы. Но его тотчас окликнули и остановили. Старший по званию торжественно доложил:

— Вас ждут. Идите к ложе Анастаса Ивановича. Он вас пригласил.

— Сядьте не рядом, а за ним. Естественно, поговорите, если Анастас Иванович захочет с вами побеседовать. Но не проявляйте инициативы и ничего не просите. Писем никаких не передавайте!

Начался антракт. Микоян пошёл в соседнюю комнату попить чаю. Любимова направили за ним. Дальше идёт главная часть разговора, о которой Любимов без смеха не вспоминал:

“Пьют чай. Я осмелился спросить:

— Вы не разрешите закурить?

— А зачем вам курить? Лучше пейте чай. Хотите рюмку коньяку?

— Выпью, да.

— Что с вами, почему такой неразговорчивый? — неожиданно спросил Микоян.

— Закрыли спектакль “Павшие и живые”, поэтому и не в настроении.

— А что им там не понравилось?

— Ну, видимо, фамилии поэтов их смущали: Коган, Слуцкий, Кульчицкий, Самойлов...

— А Самойлов тут при чём?

— Ну, может, потому, что мы с ним писали эту инсценировку, или потому, что еврей... Ну, вы же помните эти стихи:

*Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещёнья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...*

— Хорошие стихи. Странно, если он еврей, что тут такого?

— По-видимому, они решили, что в спектакле все евреи. Вот они и обиделись.

— На что обиделись? Обижают врагов.

— Нет, Анастас Иванович, обижают и друзей. Первых — потому что обидеть легко, а вторых — приятно.

— Странная ситуация. И что же они вам сказали?

— Они никогда не говорят до конца. Они делают всё на всякий случай. Поэтому для них легче всего закрыть спектакль. Позже предложили заменить поэтов, но перепутали. Многих они не знали. Не знали, кто еврей, а кто русский.

Микоян подумал и после паузы сказал:

— А почему вы у них не спросили: разве решения Двадцатого съезда отменены?

— Я у них много что спрашивал. Но мне кажется, что это ваша обязанность — спрашивать у них. Вы всё-таки Председатель Президиума Верховного Совета, то есть Президент СССР.

Сумасшедшая кровавая муть

В этот день наверху в буфете собралась почти вся труппа. Здесь были актёры Губенко, Высоцкий, Насонов, Самойлов, Хмельницкий и А. Васильев... На столе поставили макет к спектаклю "Пугачёв" по драматической поэме С. Есенина. Неподалёку от стола устроились писатель Эрдман и художник Ю. Васильев. Любимов снял куртку и, указывая на макет, начал говорить:

— Значит, так, начнём, пожалуйста. Николай Робертович Эрдман, который присутствует здесь, — жёст в сторону сидящего Эрдмана, — всё время уговаривал меня поставить "Пугачёва". Правда ведь, Николай Робертович?

— Правда, — слегка заикаясь, ответил Эрдман. — Я и Мейерхольда уговаривал. Но Всеволод Эмильевич просил Есенина дописать. А Есенин отказался.

— Вот видите, и я до сих пор был ни в какую. Я Николаю Робертовичу всё время говорил, что мне нравится эта поэма, но я не знаю, как её ставить. Я понимаю, почему Мейерхольд просил дописать и почему Есенин отказался. А как ставить, понять не мог. И только когда у меня в башке родился этот образ — плоскость, которая наклонена чуть ли не на сорок пять градусов в зрительный зал, а в конце — плаха, я понял, что можно играть. Я свяжу пугачевцев одной цепью, всобачу им топоры, и босиком, в холщовых штанах, подпоясанных верёвками, мы сыграем эту уникальную поэму. Хотя пьеса короткая, в одном действии, но могучая.

Неожиданно включается запись монолога Хлопуши в исполнении самого Есенина:

*Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть или исцеленье калекам?*

*Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.*

Запись выключается. Любимов восторженно оглядывает всех присутствующих.

— Видите, какая мощь в стихе, и стих этот очень вольный. Видите, какой у Есенина глубокий баритон и бешеный темперамент! Есенин всё время выражает своё отношение к природе, к жизни, к звёздам, к свободе... Чтобы не сдохнуть, ставя эту поэму, я попросил Николая Робертовича, кстати, друга Сергея Есенина, написать интермедии. Позже он нам их прочтёт.

В гуще актёрской группы кто-то поднял руку. Это Самойлов, на которого все уставились с недоумением.

— Что, Самойлов, тебе что-то неясно?

— Простите, Юрий Петрович, а о чём всё-таки будет этот спектакль? Про что будем играть?

Любимов подбоченился и вдруг на бешеном темпераменте прочитал строки из поэмы:

*— Чтоб с престола какая-то б...
Протягивала солдат, как пальцы,
Непокорную чернь умерщвлять...*

Раздались аплодисменты.

— Теперь тебе ясно, Самойлов?

— Да, Юрий Петрович, ясно. Скажу откровенно, хочется играть в этом спектакле.

Мейерхольд или Станиславский

Сцена Театра на Таганке. Идёт сдача спектакля по драматической поэме С. Есенина “Пугачёв”. В цепях бьётся Хлопуша-Высоцкий, выкрикивая знаменитые есенинские строки:

*Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.*

Зрителей на просмотр не допустили. В центре, за режиссёрским пультом сидит Любимов, рядом — директор театра Дупак и несколько человек из постановочной группы. Впереди, в седьмом ряду расположилась комиссия, присутствуют старушки-сёстры Есенина. Лица у членов комиссии напряжённые, многие недовольны. В глубине зала, в его слабо освещённой части под балконом пристроились Алиса Чернова, Люся Животова и Владимир Насонов. Спектакль им явно нравится. Глаза их наполнены сопереживанием и восторгом. Особенно когда роль Бурнова-Торнова исполнил Виктор Самойлов. После его куса девочки даже негромко захлопали, но строгий взгляд Любимова охладил их пыл. Но вот спектакль закончился, и члены комиссии молча направляются в кабинет Любимова, где рассаживаются в кресла, с любопытством рассматривая стены, расписанные автографами известных людей.

Полный господин, видимо, глава комиссии, негромко обращается к одной из сестёр Есенина:

— Вот видите, Екатерина Александровна, Юрий Петрович не доверяет таланту вашего брата. Ему понадобились какие-то интермедии. Это что же, намёки на сегодняшнюю власть?

Сестра Есенина недовольно машет головой — дескать, недопустимо обобщились с великим поэтом.

— Уважаемая комиссия, — перебил этот междусобойчик Любимов, — если обсуждение началось, то я сразу хочу внести ясность: это не какие-то там интермедии, их написал не кто-нибудь, а замечательный драматург, — обращаясь к сёстрам, — между прочим, друг Сергея Александровича — Николай Эрдман.

— Тем более если друг, — нервно заголосила худая дама неопределённого возраста, — разве непонятно, что поэзия Есенина несовместима с этими “царскими байками”. Царица зубоскалит, сидя не на троне, а на плахе. Приличная артистка Ульянова, а выглядит на этом бревне, извините, прямо скажем, двусмысленно. Это же царица, а не “Параша — наперсница её затей”.

Представительный мужчина из комиссии тотчас подхватывает:

— И немудрено, надо же поиграть на теме царских фаворитов. Потёмкин с кленовым листком на причинном месте... Неужели вы не понимаете, что это пошло!

Слово берёт Николай Эрдман. Любимов его ещё раз представляет:

— Вот послушайте, что скажет автор “Мандата” и “Самоубийцы”.

Эрдман непривычно волнуется. Когда он начинает говорить, заметно, что он заикается:

— Во-первых, да-вай-те го-ворить по-по существу. Одно из лучших, никогда не ставленных произведений Есенина — его драматическая поэма — наконец-то поставлена на сцене советского театра! Это огромное событие, товарищи. Этого не смог сделать даже Мейерхольд! Это сделал Любимов! И за это одно, я полагаю, мы должны ему быть бла-годарны. Когда состоялось столь большое театральное событие, критикам следует, прежде всего, говорить об этом. А вы об интермедиях. Дались вам эти интермедии! При чём тут это?

— Так это же ваши интермедии, ваши намёки, ваши подтексты, — стала выкрикивать дама неопределённого возраста.

— Простите, я вас не перебивал, когда вы вместе с вашим коллегой о причинном месте фан-та-зировали. Есть талантливый коллектив, есть замечательный спектакль и, наконец, есть режиссёр, который в короткое время из Богом забытого театра сделал один из самых интересных театров Москвы. Перед вашими глазами огромный труд. Неужели доброго слова не найдётся в ваших оценках? Нельзя же с этим театром делать одно и то же — “держат и не пушат”.

Неожиданно с места вскакивает во весь рост глава комиссии. Его мясистое красное лицо полно возмущения.

— Дорогой товарищ Эрдман, спасибо вам за большое эссе, посвящённое задачам советского театра! Но, простите, нам здесь адвокатов не нужно! К тому же у нас с вами разные миссии. За то, что играют в Москве, есть организации и люди, которые за это отвечают. Это должно быть ясно каждому из здесь присутствующих. У советского театра, о котором вы с ироническим подтекстом упомянули, товарищ Эрдман, есть миссия. Она проста и сложна одновременно. Эта миссия — реализация театральной эстетики общества, напомню, советского общества, строящего коммунизм. Мы, как и вы, люди театральные, достаточно театральные, Николай Робертович, и воспитывались не только на Мейерхольде, но и на реалисте Станиславском. Великом Станиславском! А что делаете вы, Юрий Петрович? Вы такой реалист, такой последовательный поклонник системы Станиславского, разве вы не видите, что поставили оперетту? Разве так читают стихи? Да, есть запись Есенина, где он замечательно воспроизводит монолог Хлопуши, но ведь у вас совсем не то! За гремющими цепями и быющим в каком-то алкогольном экстазе Высоцким-Хлопушей всё пропадает. Это же оскорбление Есенина! Вместо Есенина вы выпячиваете постановщика, то есть себя, любимого. Ведь так, Екатерина Александровна?

Одна из сестёр-старушек Есенина начинает поддакивать, но её негромко, но внятно вдруг обрывает другая:

— Что ты говоришь! Он бы счастлив был, что это поставили. Тебя они напугали, что пенсию отберут, вот ты и ведёшь себя так!

И начался скандал. Любимов вскакивает с места и кричит:

— А вы, оказывается, шантажом занимаетесь, запугиваете старых людей! Стремительно подойдя к двери, Любимов яростно распахивает её со словами:

— Уходите из моего кабинета, чтоб не видел я вас тут.

Все перепуганы. Комиссия молча выходит из кабинета.

Какая-то дама шепнула на ухо режиссёру:

— Снимите интермедии, тогда спектакль пойдёт.

Она прикрыла губы указательным пальцем и исчезла за дверью. В кабинете остаются только Любимов и Эрдман.

Любимов, плотно закрыв дверь, достаёт из шкафа бутылку водки и разливает в маленькие рюмочки. Оба молча выпивают.

Эрдман по-отцовски обнимает Любимова и спокойно говорит:

— Юра, спектакль получился, играйте без моих интермедий.

Фурцева

— Господа артисты, только что звонили от министра культуры Фурцевой. Завтра утром в одиннадцать Екатерина Алексеевна приедет смотреть спектакль “Живой”. Всем цехам приготовиться к сдаче.

Этот день запомнился навсегда. Шёл март, но холод в театре был собачий: что-то случилось с отоплением. В гримёрной Самойлова все уже были одеты в театральные костюмы, когда в окне первого этажа, выходящего на Садовое кольцо, участники спектакля увидели чёрную “Чайку”. Из неё показала Фурцева.

Выпорхнула она из кабины легко, словно балерина. Через несколько секунд министерша уже была в предбаннике служебного входа. Здесь был эпицентр театра, на крохотном столике лежала ведомость, в которой актёры расписывались о явке на спектакли. Самойлов быстро вышел в коридорчик, чтобы взглянуть поближе на эту знаменитую женщину.

Видно было, что она явно не в своей тарелке. При входе её встретил Любимов. Улыбка вахтанговского героя-любовника тотчас засияла на его физиономии.

— Куда мне идти? — спросила она, оглядываясь и нелюбезно кивая на приветствия тех, кто пришёл посмотреть на неё.

Любимов сделал широкий жест, приглашая Фурцеву наверх, в свой кабинет. На нем был красивый серый пуловер, его роскошная седая шевелюра выглядела уложенной. Бросалось в глаза, что он не столько волнуется, сколько рассчитывает на взаимопонимание. На секунду они встретились глазами, словно Настасья Филипповна с князем Мышкиным. Фурцева хотела сбросить ему в руки свою каракулевую шубку, но Любимов предупредил:

— Екатерина Алексеевна, простите, в театре не работает отопление, поэтому холодно. Оставайтесь так. Да и вообще будет прохладно, — странно пошутил Любимов.

Она сверкнула глазами на этот полунамёк-иронию и без паузы ответила:

— Не замерзну, не за этим приехала! — и бегом пошла наверх. Самойлов в короткое мгновение увидел её красивые ноги, лёгкую походку и манеру держаться, скорее капризную и кокетливую, нежели властную.

“Зачем шеф так шутит, так ведь и накаркать можно Бог знает что!” — подумал Самойлов и направился за кулисы.

И впрямь, на всё происходящее теперь можно было смотреть только из-за кулис. Там царило какое-то нервное спокойствие.

Внезапно раскрылась дверь из большого фойе, и в зрительный зал быстро вошла Фурцева. Она прошла в пятый ряд и села отдельно. Шубка была наброшена на её плечи, придавая всему её облику какой-то царский вид. Следом появились Любимов, Можаяев, Глаголин. Они сели рядом, у режиссёрского столика.

Когда режиссёр дал команду начинать, почти по-пластунски незаметно просочились на задние ряды еще несколько человек; расселись все порознь, словно пришли в чужой дом непрошеными гостями. Как же это всё было по-советски: казённо, безрадостно и бессердечно! И это на одном из лучших спектаклей Театра на Таганке!

Среди всего этого “партикуляра” незабываемо выглядел автор. Можаяев сидел прямо, словно пригвождённый к воздуху, голова его была похожа на скульптуру римского полководца. При этом он улыбался и всем видом давал понять, что счастлив и уверен в успехе. Постепенно стал гаснуть свет, и в глубине зала промелькнула фигура Вознесенского. Актёров в зал не пустили —

запретила администрация театра. До этого по приглашению Любимова на одной из репетиций побывал Жан Вилар — знаменитый режиссёр Национального театра в Париже. Его сопровождал корреспондент газеты “Юманите” Макс Леон. Главное ощущение перед началом спектакля — какой-то торжественный страх. Прежде министры в этом театре не бывали. И волнение за кулисами зашкаливало.

Первый акт играли при полном молчании. Но вот кончилось первое действие, и вдруг во всех гримёрках по радиосвязи раздалась ругань Фурцевой. Сиятельная дама как сорвалась с колков, и начался ор:

— Где вы видели такую жизнь? Это что же такое? Где у них советская власть? Что вы показываете? Вот это посмотришь и, конечно, скажешь: все годы советской власти впустую!

Любимов быстро встал из-за режиссёрского стола, по проходу прошёл к Фурцевой и стал успокаивать её, словно больную:

— Екатерина Алексеевна, потерпите. Спектакль ведь не закончен. Второй акт всё выправляет, ставит на место, — вежливо, но крайне взволнованно успокаивал он разгневанную даму.

— Это впечатление нельзя изменить никаким вторым актом. Не понимаю, где автор увидел такую жизнь? Давайте второй акт!

— А перерыв? — опять вежливо спросил Любимов.

— Не надо никаких перерывов! Мы уже готовы!

“Мы уже готовы” прозвучало двусмысленно: то ли готовы в смысле ободели, то ли готовы спектакль растоптать.

В короткой паузе между актами актёры не успели на весь услышанный ор даже отреагировать. Все чувствовали, что получили по мордам, и поэтому пошли на второй акт с каким-то почти озверелым настроением. Перед тем как стал набираться свет, Зина Славина успела показать рукой круговое движение — понятно было, что надо держать темп и не падать духом.

В такой атмосфере играли второй акт. Сцена в райкоме проходила в большем общении с залом. Поэтому Самойлов ненароком следил за лицом Фурцевой. Лицо её оставалось брезгливо-недовольным, словно ей показывали прокажённых из индийского штата Кашмир.

Удивительно было другое: несмотря на “военный режим” просмотра, актёры играли превосходно, отчаянно и залихватски. Сами радовались тому, сколько появилось импровизаций. Это тотчас сказалось: в зале кое-кто стал реагировать, конечно, под сурдинку, посмеиваясь в кулачок, оборачиваясь и как бы стесняясь друг друга.

Наконец, спектакль закончился. Фурцева сбросила на кресло шубу и обернулась.

— Где партийный секретарь? Где дирекция? Здесь, в этом театре есть партийная организация?

К ней стал подходить белый, как мел, Глаголин, но она его грубо отшила, — мол, всё с вами ясно, нет парторга, безответственная организация... На беду, в этот момент высунулся актёр Джабраилов, который играл ангела с крылышками. Одет он был в трико, обтягивающее мужскую силу, и скорее походил на Люцифера, чем на ангела. Фурцева по женской логике прореагировала на появившееся “чудо” и громко спросила:

— Вот вы?!

Джабраилов указал на себя и тоже спросил:

— Вы ко мне?

— Да-да, к вам! Вам не стыдно играть вот так, в этом неприличии?

— Не стыдно, — на удивление спокойно ответил Рамзес.

Она поискала глазами Любимова и злорадно выкрикнула:

— Да, довели вас здесь! Вас надо всех разогнать!

В этот момент из “окопов” появился Вознесенский и самовольно, без разрешения начал говорить о том, что Любимов как художник имеет право увидеть наше недавнее прошлое в сатирическом ключе...

— Сядьте, Вознесенский! Ваша позиция давно известна. И вообще, как вы сюда попали? Кто пустил этого защитника? Всё ясно! Ну, и компания же у вас подобралась! Приведи сюда иностранцев, не надо по стране ездить.

В центре Москвы узнаешь больше, чем по любому “Голосу”. А зачем им ездить — они сюда придут и напишут! Второй акт, говорите! Второй акт ничего не изменил. Как был непроглядный мрак, так и остался. И сердце у вас не защемило — такую действительность нам показывать. Так-то вам нужна советская власть? Пинать её вам хочется! Смотрите, допинаетесь!

В этот момент в центре зала поднялся Чаусов — красивый, лощёный молодой человек из театрального отдела.

— Екатерина Алексеевна, можно сказать откровенно? От всего сердца?

— Скажите, скажите от молодёжи, а то я тут одна всё решаю.

— Правильно решаете, Екатерина Алексеевна. Этот спектакль целит в самое сердце советской власти, в нашу смычку с крестьянством. Если у нас на селе такое крепостное право, то что же за страну мы построили? Откуда у нас тогда космос, как же это мы победили в войне, если в спектакле такой райком... Это в Америке Чарли Чаплин с маленьким человечком, а у нас — Тёркин, женщина-колхозница, которая выиграла войну...

Выступление Чаусова взбесило Можаяев. Он не удержался, вскочил, и его понесло. Он без слов прошёл к Чаусову и скомандовал:

— Сядьте!

Тот с перепугу медленно сел и сник.

Можаяев погрозил ему пальцем и добавил тихо, но твёрдо:

— Вы ещё молодой человек, а ведёте себя, как карьерист! Так карьеру не делают! — Он повернулся к Фурцевой и продолжил: — Как вы воспитываете молодые кадры, Екатерина Алексеевна? Это ведь первостатейный подхалим.

За кулисами актёры на этот пассаж даже захлопали.

— Как будто для этого молодого человека не было мартовского Пленума ЦК КПСС, — продолжил Можаяев, — осудившего волонтаристские методы руководства. А они, оказывается, живы, только в другом обличье: в демагогическом бряцании действительно великими заслугами, не замечая повседневности. “Для каждого из нас, — говорит Брежнев, — должно быть обязанностью быть гражданином, участвовать в обсуждении злободневных проблем или так называемых временных вопросов”. Мимо них, как говорил Щедрин, не пройдёшь с “олимпийским равнодушием”.

Можаяев указал на сцену и выкрикнул:

— В этом театре нет равнодушия, и за это его бьют, не понимая, что рубят сук, на котором сами сидят. У нас много больших жизненных вопросов, которые помогает решать и театр. Да, это увеличительное стекло. Но не площадка для демагогии, молодой человек. Театр тоже вместе с партией решает вопросы нашей повседневности, пытается донести до каждого из нас, что никто, кроме нас самих, не сдвинет их с места. Что это за вопросы? Я вам отвечу принятыми решениями нашей партии, которые здесь почему-то забыли: это развитие хозяйственной самостоятельности колхозов... У Кузькина, как мне кажется, есть предтечи, но это не маленький человек Чарли Чаплина, а Иванушка-дурачок, Швейк Гашека, Тёркин Твардовского...

— Хорошо, хорошо, товарищ Можаяев, — вмешалась, наконец, выбитая из седла министр культуры. — Мы помним о роли мартовского пленума, о задачах по развитию хозяйственной самостоятельности, но мы знаем и о роли партии в этих вопросах.

Можаяев хотел что-то возразить, но Фурцева подняла руку и громко выкрикнула:

— Стоп! Достаточно! Все понятно, целую лекцию закатали. Хватит! Давайте, как говорит герой вашего спектакля, не будем ломать комедию. — Она взяла себя в руки, посмотрела презрительно на свою команду и продолжала:

— Итак, подведём итоги: второй акт, говорите? Главный режиссёр заявил, что он ставит всё на место? Вот что я отвечу главному режиссёру: потуги изображения райкома в этом спектакле — чистая профформа! Тут собрались не пни берёзовые, Юрий Петрович. В этом спектакле такая антисоветчина, что его ничто не спасает.

— Но ведь это, Екатерина Алексеевна, напечатано, — негромко возразил Любимов. — И не где-нибудь, а в “Новом мире”!

Фурцева оглянулась, рассмеялась и вновь повернулась к Можаяеву.

— Вы думаете, Можаяев, что если вас напечатали в “Новом мире”, то вы далеко поедете? Нет, Можаяев! Садитесь!

— Не сяду! — крикнул Можаяев. — Честь имею! — отчеканил он и почти строевым шагом вышел из зала. Возникла тяжёлая пауза, которую нарушил отчаянный голос Любимова:

— А вы думаете, что вы далеко пойдёте с вашим “Октябрем”?

Все актёры за кулисами аж подпрыгнули.

“Шеф, зачем?” — кричало всё внутри у каждого работника театра. Потом он объяснил, что имел в виду не Великий Октябрь, а журнал “Октябрь” Вс. Кочетова. Но было уже поздно.

На эту реплику министр вскочила и понеслась:

— Ах, вот вы как! На берёзу водрузили “Новый мир” и думаете, что у вас что-то изменится? Новый мир появится? Вам другой мир нужен. Вам наш “Октябрь” не угоден. Я буду на вас жаловаться в ЦК! Леониду Ильичу Брежневу! Весь театр надо разогнать! Здесь нет советской власти! Я сейчас же поеду к Леониду Ильичу и расскажу, что здесь происходит.

У неё упала шуба, но она о ней даже и не вспомнила — опрометью выбежала из зала и на весь театр хлопнула дверь. Потом кто-то прибежал и осторожно шубу взял, словно там была главная часть министра.

После прогона коллектив стихийно собрался в тесном фойе. Здесь были Можаяев, Боровский, Глаголин, Дунак, гости, не сумевшие посмотреть спектакль. Многие из актёров прослушали обсуждение спектакля в записи и совсем приуныли.

Любимов закурил, кто-то положил на небольшой стол пепельницу.

— Наверху нам было сказано, что спектакль закрыт. Но я не горюю. Что даёт мне силы? То, что при этом закрытии вы, мои товарищи актёры, безукоризненно работали при пустом зале, когда сидели люди, которые умерщвляют искусство, а значит, и душу своего народа. Спасибо вам за труд, я оптимист, этот спектакль обязательно пойдёт.

Вскоре стало известно, что Любимова сняли с работы и исключили из партии. Однако через две недели его вызвал начальник Управления культуры Москвы Борис Иванович Рудаков.

— Поздравляю, Юрий Петрович, ваше письмо дошло до товарища Брежнева. Вас вновь примут в партию и возвращают в Театр на Таганке. Однако по поводу спектакля “Живой” принято жёсткое решение. Куда как жёстче, чем на первом этапе предлагало вам управление.

— Ну, как же можно со мной без жёсткого решения... И что же я теперь должен делать? — с интересом спросил режиссер.

— Вот приказ Управления культуры исполкома Моссовета.

Рудаков протянул бумагу и сказал:

— Читайте вслух, если с чем-то не согласны, возражайте...

— Спасибо, мне уже прислали копию: “Получился идейно порочный спектакль, искажённо показывающий жизнь советской деревни”. Вот именно по этому пункту я возражаю и повторяю вновь: я оптимист, этот спектакль когда-нибудь пойдёт.

— Ну что ж, возможно! Только не забывайте старую присказку, Юрий Петрович: “Когда дураки поумнеют, придут новые дураки”. Кстати, об оптимизме и пессимизме. Знаете, Юрий Петрович, кто изобрёл пессимизм? Гамлет. Весь мир сделался печален оттого, что изведаль некогда печаль этот сценический персонаж. Так вот, Юрий Петрович, ваш оптимизм по поводу “Хроник” Шекспира — на самом деле пессимизм. А пессимизм, по шекспировскому “Гамлету”, это как раз и есть оптимизм. Ставьте “Гамлета”. “Гамлет” — это европейская специальность, докажите, что это не так.

— Не люблю договорённости на бегу, будет разрешение — будет и результат.

— Хорошо, за разрешением дело не станет. — Рудаков вышел из-за стола, проводил Любимова до дверей и на прощание протянул руку.

— Не надо горевать, Юрий Петрович. Ведь мне досталось не меньше вашего. Обиды от власти нужно сносить не просто терпеливо, но с весёлым лицом: если они убедятся, что и впрямь задела вас, непременно повторят.

Гамлет

Незабываемой оказалась первая репетиция “Гамлета”.

В переполненный зал, где торжественно сидела почти вся труппа и сотрудники цехов, неожиданно вошли вместе с Любимовым Боровский, Дурак, какой-то незнакомый мужчина и в конце — встреченный аплодисментами композитор Шостакович. Все сразу решили, что музыку будет писать знаменитый композитор. В подтверждение этого в зале раздалась увертюра Шостаковича, написанная к недавно прошедшему “Гамлету” Козинцева со Смоктуновским в главной роли. Неожиданно под эту музыку в проходе появился незнакомый мужчина весьма импозантной внешности и, поднявшись на сцену, стал на английском языке читать монолог “Быть или не быть”.

“Неужели пригласили кого-нибудь из-за границы? — стали перешептываться актеры. — Может, это для страховки Высоцкого на случай неудачи или срыва?”

Загадка раскрылась сразу после чтения. Любимов представил исполнителя. Им оказался некий кандидат филологических наук, ученик шекспироведа А. Аникста. Аникет сделал для театра композицию по шекспировским “Хроникам”. Они по причине “аллюзий и ассоциаций” Управлением культуры были запрещены, но знаменитый маэстро, тем не менее, был, хоть и недолго, сердит на театр. Вот почему появился его преданный поклонник. После такого необычного начала работы над “Гамлетом” Любимов вызвал на сцену первый состав, и началась первая репетиция. Просидев в зале до конца репетиции, Самойлов решил позвонить жене. Пошёл в кабинет завтруппой, и тут его перехватил артист Вячеслав Королёв. Он был третий Бернардо и тоже маялся в неизвестности — играть или не играть.

— Виктор, я — в Переделкино. Хочу навестить могилу Пастернака. По-едем вместе?

— А что, можно.

Он позвонил жене и сказал, что будет позже.

На Киевском вокзале взяли билеты и вскоре оказались на станции Переделкино. Шли пешком мимо Патриаршего подворья, церкви и, наконец, пришли на кладбище. Могилу нашли быстро. На холмике рядом с незамысловатым памятником лежали маленький букетик цветов и скукоженный, но большой венок от австрийской профсоюзной организации. Слава поднялся на возвышение и, размахивая руками, прочитал своё стихотворение. Собственно, их обоих и свеза в театре тяга к литературному творчеству. Самойлов закончил одноактную пьесу и нашёл в Королёве не только толкового критика, но и интересного поэта. Впрочем, в эту пору на Таганке литературным творчеством занимались многие. Золотухин опубликовал повесть, Смахов был не только ведущим артистом, но сделал великолепный сценарий к спектаклю “Послушайте”. Позже появился талантливый Филатов, не говоря уже о Высоцком, чья слава набирала небывалые обороты. Все капутники изобиловали замечательными поэтическими сюжетами; к тому же мэтры — Евтушенко, Вознесенский — не только были представлены на сцене, но и запросто приходили в театр. Вполне изучив Переделкинское кладбище, приятели решили посмотреть на знаменитый Дом творчества писателей.

И тут произошло неожиданное событие. На улице Серафимовича Королёв разглядел гуляющего писателя Валентина Катаева. Одет он был в незаметный старый плащ, на голове была кепка, но Королёв по носу узнал его.

— Давай подойдём? — предложил Слава.

— Неудобно, — застеснялся Самойлов.

— Да чего ты? Пригласим в театр, узнаем, над чем мастер работает, — настаивал Королёв.

— Он дружил с Есениным, — вспомнил Самойлов, — давай пригласим его на “Пугачёва” — наверняка не видел.

Подшли. Представились.

— А что вы тут делаете, господа таганцы? — с неким лукавством спросил мастер. Катаев был настроен благодушно, но улыбались только губы.

— Ходили на могилу Пастернака. У нас ставят “Гамлета” в переводе Пастернака. Вот мы и приехали зарядить, так сказать, аккумуляторы, — бойко ответил Королёв.

— Но это не всё, — подхватил Самойлов. — Во-первых, мы знаем ваши произведения. На нашем курсе играли “Квадратуру круга”, во-вторых, у нас возникла идея, Валентин Петрович, пригласить вас на спектакль Есенина “Пугачёв”.

— Ах, вот как! Значит, на “Пугачёва”? Ну что ж, вполне, вполне... Можно сходить. Только не надо хлопотать о билетах, я позвоню Юрию Петровичу и всё улажу. Когда ближайший “Пугачёв”?

— Послезавтра, — бойко ответил Самойлов.

— Кто из вас там играет? Оба?

— Там играет вот он. Его фамилия Самойлов, зовут Виктор, — отпартовал Королёв.

— Как Виктор играет?

— Здорово! Приходите, посмотрите.

— Ну что ж, рад знакомству, молодые люди, а сейчас я вас приглашаю на чай. Моя прогулка закончилась.

Катаев посмотрел на часы и протянул руку в сторону двухэтажного деревянного дома на другой стороне улицы.

В доме их встретила жена писателя и быстро организовала чай и печенье.

— Есть у меня одна фотография Есенина, я её вам подарю.

Катаев достал альбом и, порывшись, вынул фотографию. На ней Есенин был в шубе, с несколько мрачным, задумчивым лицом. Без позы и пудры.

— Возьмите на память. Пусть ваши аккумуляторы наполняются невыдуманым Есениным.

Самойлов, приглашавшийся Московской филармонией на концерты и давно мечтавший сыграть одну драматическую поэму “Пугачёв”, почувствовал, что от Катаева можно получить о Есенине какую-то сенсационную информацию.

— Вы меня заинтриговали, Валентин Петрович. Что значит — невыдуманный Есенин?

— Я его неплохо знал. Вначале его вознесли, потом, при советской власти, Бухарин и Троцкий, изрядно потрепав, запретили, а позже, как это у нас бывает, захвалили до небес. Красавец, бабник, а тут ещё Айседора Дункан... В дополнение решили, что повесился.

Катаев передохнул, отпил маленький глоток ещё не остывшего чая и продолжил:

— Через год на его могиле ещё и застрелилась единственная женщина, которая его любила, — Бениславская. Ещё одна сенсация — сотрудница ГПУ застрелилась. Он ведь был страшным саморекламщиком, поехал в Ленинград создавать литературный журнал, по дороге разным стукачам наговорил Бог знает что. А тут ещё съезд, лютая борьба сталинистов и троцкистов. Зачем ему было вешаться? Запой тогда у него не было, депрессии тоже. Наоборот, женился на внучке Толстого, как шутили тогда — “королевич сел на трон великого старца”. К тому же у него был револьвер, мог бы легко застрелиться, чем лезть под потолок, куда попасть даже при большом желании не было никакой возможности. Время изменилось, революция перерождалась в термидор, а он по-ребячьи выдумывал про себя всякие истории, задевая сильных мира сего, к которым он никогда не принадлежал. И вот результат: погиб в расцвете сил, не сделав и четверти того, что ему давалось легко, Божьим провидением. Однако “во всех непредвиденных случаях надо помнить, что все ниспослано Вседержителем”. К тому же как ни тяжело мне это говорить, но он был горьким пьяницей. Одно время я почти каждый день с ним встречался, и всегда от него пахло перегаром. Надо было иметь двухжильное терпение, чтобы с ним не ссориться. Горький всё время в письмах учил Сталина: “Нужно иметь национальную линию”. А Есенин мог бы со временем, конечно, стать превосходным русским поэтом национальной линии. Его знают, в основном, песенного: “Клён ты мой опавший” или “Выткался над озером алый цвет зари”. Последнее и вовсе написано в шестнадцать лет.

А ведь серьёзного Есенина не знают. Не знают “Страну негодяев”, где он вывел Чекистова, прообразом которого был Троцкий. Есть там одно место, напрямую относящееся к Наркомвоенмору.

И тут Катаев неторопливо, какой-то серой краской прочёл несколько строк из “Страны негодяев”:

— *...Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что...
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет!
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божиим...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
Ха-ха!..*

— Вот ведь с кем не боялся сталкиваться наш “королевич”, — продолжил он после короткой паузы. — Не знают и его “Пугачёва”. Спасибо вашему театру, Любимову и, кстати, Эрдману, который надоумил Юрия Петровича поставить этот спектакль. Блок, кстати, точнее всех сказал о Есенине: “Стихи у поэта ясные, чистые, язык...” Ведь не сказал “гениальный поэт”, а сказал просто, но весомо — Поэт. По вашим глазам, молодые люди, я вижу, что вас разочаровал. Но это моя точка зрения. Когда-нибудь я об этом напишу. Я ведь хорошо знал и “мулата”. Есенин недолго любил его, порой они так сцеплялись, что страшно становилось.

— А кто этот “мулат”, неужели Пастернак? — с горящими глазами спросил Королев.

— Да. Есенина мы звали — Королевичем, а Пастернака Мулатом.

— Валентин Петрович, — сжавшись в комок и глядя в пол, заговорил несвойственным ему голосом Самойлов, — честно говоря, я после вашего рассказа в каком-то недоумении.

— Ага, значит, задело.

— Очень, и... готов поспорить.

— Пожалуйста, я готов слушать.

— Но вначале я хочу вам прочитать одно стихотворение. Можно?

— Есенина?

— Нет, другого поэта, но, на мой взгляд, первоклассного. Можно?

— Да что вы заладили, конечно, можно.

Катаев откинулся на стуле, навел радаром свой нос на Самойлова и стал слушать. Виктор стал читать:

— *Я переписывать не стану
Из книги Тютчева и Фета,
Я даже слушать перестану
Того же Тютчева и Фета.
И я придумывать не стану
Себя особого, Рубцова,
За это верить перестану
В того же самого Рубцова,
Но я у Тютчева и Фета
Проверю искреннее слово,
Чтоб книгу Тютчева и Фета
Продолжить книгою Рубцова.*

— Ну что ж, хорошо читали, — губами улыбнулся Катаев. — И стихотворение искреннее. Этот Рубцов — талантливый поэт. О нём знают, говорят... Но какое отношение он имеет к нашему разговору? В чём здесь ваше “поспорить”?

— Здесь всё, в чём вы упрекали Есенина. И самореклама, и гордыня, и даже поза... Но в стихотворении есть то, ради чего я его прочитал и чего, как мне кажется, вам не удалось в вашем рассказе избежать. Вот эта строчка: “И я придумывать не стану себя особого...” Простите, но так и хочется сказать: особого Катаева. И дальше: за это верить перестану... Вы на волосок были рядом с гением, и вас раздражало его состояние?... Не верю, что только это. Вы чего-то не договариваете. Я часто бываю в Литинституте, даже мечтаю поступить туда заочно, но о Рубцове там только и слышу: да, конечно, хороший поэт, но... и пошло-поехало... И я понял: ему просто завидуют. А зависть надо заслужить.

Трое в одной карете

До киноактёрской параболы одной из лучших театральных работ Леонида Филатова был Пушкин в спектакле по пьесе Людмилы Целиковской и Юрия Любимова “Товарищ, верь!” Здесь он впервые получил главную роль и к тому же материал, позволявший его поэтической натуре развернуться в полную силу. Что он, кстати, и сделал самым превосходным образом.

Пушкиных, по замыслу Любимова, было пятеро. Дыховичный исключительно рельефно и выразительно играл Пушкина — бражника и повесу. Пушкин Бориса Галкина (позже эту роль так же превосходно играл Погорельцев) был чист, непосредствен и по-детски обидчив. Восходящая звезда театра, корифей эпизода Р. Джабраилов со всем его бешеным темпераментом играл Пушкина-арапа. Золотухин, на мой взгляд, был Пушкиным, которого сочинил в своём воображении русский народ. А вот тот тонкий, почти эфирный материал, где зритель должен был поверить, что Пушкин не только поэт, а к тому же еще и гений, выпал на долю Филатова. Леонид с этой сложнейшей партитурой справился превосходно. Из царской золочёной кареты Самойлову всех Пушкиных было видно как на ладони. В этом спектакле Самойлов в одном лице был и Дантесом, и царём Николаем, поэтому по ходу спектакля сталкивался с ними практически в каждой сцене. Чем же отличался Пушкин Филатова от других? Прежде всего, глазами! Фокус был в глазах! Они, не в укор другим исполнителям, которые, повторяю, играли первоклассно, чувствовали по-особенному боль времени. Боль ведь возникает тогда, когда должное и сущее не сходятся в одной точке. В этом смысле двадцатый век, а теперь уже и двадцать первый, наряду со своими величайшими достижениями в немалом, “и зрение, и слух повергли в прах”. В России мы это почувствовали во всём, в том числе и в театре. Ведь актёры — дети своего времени. Хорошее и дурное пронизывает их жизнь в не меньшей степени, чем других, обычных людей. Судите хотя бы по фильму Филатова “Сукины дети”.

Но тогда, в пору расцвета Таганки, Филатов в упомянутом выше пушкинском спектакле работал превосходно. Если коротко обозначить, чем занимался его Пушкин, — это сочинение стихов здесь и сейчас. Поэтому в исполнительской манере присутствовала значительная доля импровизации. Надо заметить, что мотив импровизации у Пушкина — один из излюбленных, а в “Египетских ночах”, как мне кажется, он достигает своего апогея. У Филатова получался странный фокус. Происходило, если так можно выразиться, помножение пушкинского вечного на отражённое в сегодняшнем. Об этом “помножении” превосходно сказал Тютчев:

*...вдруг, знает Бог откуда,
Нам на душу отрадное дохнёт,
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно приподнимет.*

Так вот, Филатов за звучащими поэтическими строками умел, как никто, поднимать “страшный груз”, не говоря уже о мастерстве его чтения, которое было выше всяких похвал. Позже эти глаза, в которых всегда было больше, чем давал сценарный материал, появились на экране. Они-то и выдвинули Филатова из плеяды героев экрана его времени.

Нельзя не вспомнить ещё один трогательный эпизод. По ходу спектакля в уже упомянутой золочёной карете, находящейся в центре сцены, на каждом спектакле в ожидании своего выхода сталкивались Л. Филатов, Н. Шацкая, игравшая красавицу Натали Гончарову, и царь Николай I, которого играл Самойлов. Находились они вместе в этой карете недолго, минут пять. Но если учесть, что спектаклей было за сотню, то для поэтической природы Леонида это были не минуты, а целая вечность. О чём они только не говорили в этой забываемой паузе! И порой Самойлов думал: не там ли, в этой золочёной царской карете, нащепались те новые чувства, которые соединили Шацкую и Филатова на долгую и счастливую жизнь?

Про Федота-стрельца, удалого молодца, или Театр Леонида Филатова

Эта пьеса не только первая, но и лучшая в творчестве Леонида Филатова. И хоть Филатов признаётся, что сказка “Про Федота” написана по мотивам русского фольклора, читателю при чтении не хочется взвешивать мотивы, а вот почерк мастера Самойлов весомо почувствовал ещё много лет тому назад. Именно в тот год, когда Леонид впервые прочитал эту сказку на телевидении.

Сказку он читал в двух отделениях. Нечего и говорить, что рекламной паузой тогда не увлекались. Показали Мастера через паузу, отбив антракт рисунками, где действительно было немало мотивов русского фольклора. Сейчас вспоминаешь всё это и невольно заключаешь: хоть и подчас сурова была тогдашняя действительность, но уж если что-то ей было по душе, то она никогда не скупилась на ласку.

Сегодня, кроме “Аншлага” и бесконечных бенефисов юмористов, ничто не представлено из того, чем когда-то на экране было, к примеру, чтецкое искусство! Сегодня изменились цели! Тогда пусть с ошибками, но кормили своих и строили великое государство. Сейчас не только кормим чужих, но и своё дожёвываем без оглядки.

В “Сказке о Федоте” Филатов показал себя первоклассным характерным актёром. Причём в упомянутом спектакле нескольких персонажей он сыграл просто на ура. Других же наделил такими яркими штрихами, что неспроста на следующий день проснулся не только знаменитым актёром, но ещё и известным поэтом. А до этого он стал героем одной драматургической мистификации.

В училище Филатов писал для студентов под чужим именем целые пьесы. Причём делал это так мастерски, что это долго сходило ему с рук. Кажется, педагог Сомов, “споткнувшийся” на филатовском Артуре Миллере, первым засомневался и, к вящему удивлению кафедры, разоблачил самозванца. В этом лицедействе лежит мотив, который лёг в основу поздних драматургических работ Филатова, представленных в драматургическом сборнике. Кроме “Часов с кукушкой”, все пьесы этой книге помечены автором как произведения по чьим-либо мотивам. Невольно задаёшь себе вопрос: почему по мотивам? Судя по “Часам с кукушкой”, Филатов мог написать вполне зрелую, оригинальную пьесу. А вот пооди ж ты, ему не хотелось! Ему нравилось пожить рядом с Робин Гудом, почувствовать верность Лизистраты, стать авантюрным “Возмутителем спокойствия”, повариться в блистательном театральном мире Гоцци, с улыбкой признаваясь читателю и будущему зрителю, что:

*Я — уличный паяц. Я — Труффальдино.
Смешнее нет на свете господина!
Да, я дурак, я клоун, я паяц.
Зато смеюсь над всеми, не боясь.*

Высоцкий

На гастролях в Вильнюсе Высоцкий жил, если память не изменяет, в гостинице “Интернациональная”, где в ночном баре играл женский оркестр. Самой красивой девушкой была в нём барабанщица. Высоцкий закрутил с ней роман. А потом запил.

В начале сентября театр играл “Десять дней, которые потрясли мир”. Неожиданно в номер Самойлова позвонил Любимов.

— Виктор, это Любимов. Прощу тебя, немедленно приезжай в театр, Высоцкий записал.

Самойлов быстро оделся, выбежал из гостиницы, поймал такси и через пятнадцать минут был в театре. Пройдя через служебный вход за кулисы, он увидел, что спектакль уже идёт.

Вдалеке маячила фигура Высоцкого в зелёном френче. Он готовился к сцене “Рожи болота”, в которой впервые появляется премьер-министр тогдашней России Керенский. Самойлов пристроился за кулисами, неподалеку от шефа. Оба ждали, встанет ли Высоцкий на плечи пантомимиста. В этот день “креатурой”, как теперь принято говорить, был Слава Спесивцев, в будущем известный театральный режиссёр, народный артист России. Когда Володя встал на плечи Спесивцева, тот с трудом его удержал.

Любимов неотрывно следил за Высоцким. Была надежда, что Володя справится с текстом. Но когда начались “заплетыки”, шеф повернулся к Самойлову и сказал:

— Всё понятно! Виктор, переодевайся, дальше будешь играть ты.

Костюмеры принесли Самойлову в гримёрку френч. Он быстро переоделся и уже в следующей сцене вышел вместо Высоцкого. Кажется, никто ничего и не заметил. Виктор это почувствовал по аплодисментам. Его исполнению этой роли аплодировали всё-таки пожиже. Наконец, спектакль закончился. Помощник режиссёра передала от Любимова слова благодарности. Самойлов пошёл на выход.

Вдруг в глубине пустой сцены он увидел Высоцкого. Сразу стало понятно, что он ждёт именно Самойлова. На Володе был тонкий кожаный пиджак и джинсы. Глаза — красные и виноватые. Самойлов подошёл и поздоровался.

— Володя, что случилось?

Не объясняя ничего, Высоцкий со злым и агрессивным настроением спросил:

— Виктор, ты можешь поехать со мной на драку? Только подумай — нас там могут обоих убить.

— Куда?

— В бар “Эрфурт”. Все отказались, даже оба Ваньки. Видишь ли, я пьян в стельку. А я не пьян, я просто оскорблен! Они мои близкие друзья, но на деле струсили и отказались. (По всей видимости, он имел в виду Дыховичного и Бортника).

Самойлов ни на секунду не сомневался, что их поведение было правильным. В таком состоянии на драку не ездят. Но тут Высоцкий напомнил Самойлову, как тот ударил одного бугая, прорвавшегося в театр на Новый год. Тогда Высоцкий пробежал с гитарой вверх в буфет и, увидев драку, крикнул Самойлову по ходу:

— Ну ты, Витька, даёшь — левой рукой, и такой нокаут.

В этот момент это воспоминание неожиданно стало соблазнительным аргументом в пользу плана Высоцкого. Самойлов согласился. Почувствовав это, Высоцкий начал убеждать, что в паре он работает очень хорошо и не подведёт. Когда решение было принято, оба пошли на выход. Слева от служебного входа стояла коричневая красавица BMW. Высоцкий быстро сел за руль и устался на Самойлова. На обоих были кожаные пиджаки и почти одинаковые джинсы.

— Ну, садись же! — крикнул он через стекло. Самойлов на секунду подумал, куда с таким водителем садиться, где безопаснее: впереди или сзади? Но здравый смысл подсказал простое решение: “Раз уж ты согласился на эту авантюру, не всё ли равно, где ты будешь сидеть?” Самойлов устроился справа от Высоцкого, и машина, как ракета, сорвалась с места. Через несколько десятков секунд на спидометре было под сто. По ходу сумасшедшей езды по Вильнюсу Высоцкий стал рассказывать. Рассказывал отрывочно, рассчитывая на воображение партнёра.

— Я выступил в ночном ресторане и познакомился с девушкой из оркестра — барабанщицей. Мне она очень понравилась. Настолько, что мы с ней не могли расстаться. В общем, любовь с первого взгляда. Не осуждай, чело-

век грешен. Как говорит один мой друг из Дагестана: “Если человек дважды совершил одно и то же преступление, ему оно кажется позволительным”. И в этом свой резон. Мы не расставались до утра. Потом она уехала. Я даже не слышал, как она уходила. Очень хотел выспаться. Вспомнил, что моя очередь играть Керенского.

— А почему не позвонил мне?

— Думал, что буду в порядке. Вдруг зазвонил телефон. Для театрального звонка, подумал, рано: не стану снимать трубку. И всё-таки снял, почувствовал, что звонит она. Оказывается, её утром около дома подкараулил и избил её парень. Потом этот прыщ отвез её в больницу. Я поехал к ней. До этого выпил. Выведал, где эта сука живёт. Приехал туда, его нет. Поехал на спектакль — остальное ты знаешь. Сейчас он на работе в баре “Эрфурт”. Он играет в оркестре и... тоже барабанщик!

Минут через двадцать машина остановилась. На вывеске на красном фоне красовалось название — бар “Эрфурт”. Выйдя из машины, оба, как близнецы-братья, вошли в бар с главного хода. На страже стоял седой пожилой литовец в специальном одеянии. На вопрос Высоцкого, где можно увидеть людей из оркестра, получили ответ с литовским акцентом:

— Здесь прохода ниет. Оркестр там.

Литовец указал в глубину помещения и отошёл, не желая разговаривать с пьяным человеком.

Высоцкий обернулся к Самойлову и спросил:

— У тебя есть деньги?

— Есть, — с этими словами Самойлов достал пять рублей.

— Эй, господин, я — Высоцкий! Хочу поговорить с моими коллегами из оркестра.

В ответ послышалось:

— Я не знаю, кто есть Вицоцкий. Здесь ниельзя!

Литовец отвернулся от предложенных денег и напоследок дал совет:

— Идите вокруг. Там иесть проход по круглой лиестнице.

Этого было достаточно. Оба вернулись к машине и проехали вперёд, к воротам. Машину на всякий случай поставили на выезд, если придётся драть. По длинному двору прошли к винтовой лестнице, которая вела на бельэтаж. Остановились в дверях. Отдышались. Приоткрыв дверь, услышали оркестр. Играли что-то из “Серенады солнечной долины”. И тут инициативу взял на себя Самойлов:

— Володя, входим плотно, защищая спины друг друга. Умоляю, ни на секунду не отходи от меня. Договорились?

Высоцкий молча кивнул.

— Покажешь этого типа, остальное я беру на себя, — сказал Самойлов.

Они незаметно вошли в зал. Он был овальным и только частично просматривался. По верхнему круглому периметру располагались ложи и столы. Внизу находилась полукруглая площадка, видимо, здесь танцевали. На невысокой сцене в три ряда сидел оркестр и наяривал “Солнечную долину”.

Никто в сторону визитёров даже не посмотрел. Между тем “таганские мстители” стали решительно продвигаться в сторону сцены. Самойлов чувствовал, как Высоцкого лихорадит. Когда осветилось лицо барабанщика, Володя не выдержал и хмыкнул. Кто-то из оркестра оглянулся, и следом за ним повернулся барабанщик. Это был лохматый белесый литовец с довольно приятным, но испуганным лицом. Его сухие длинные руки носились в разные стороны. Издалека он походил на большую серую саранчу, севшую на барабан. То ли испуг барабанщика, то ли абсолютная уверенность в победе, но вдруг Высоцкий ринулся к обидчику в обход. Тот сидел ближе к противоположной стороне. Володя легко прыгнул в зал, развернулся для броска и, выдав тираду глубочайшего возмущения, бросился на сцену. И тут произошёл обвал. Высоцкий зацепился ногой о бордюр и полетел прямо в ноги оркестрантов. Через секунду он вскочил, но было поздно — его стали бить. Закрываясь от ударов, он рвался к барабанщику и, не переставая, ругался самой отчаянной бранью.

Самойлов бросился на выручку.

— Что вы делаете? Прекратите! — кричал он, всё ближе приближаясь со своей стороны к барабанщику. — Остановитесь! Хватит! Это же Высоцкий!

Под эти увещевания Самойлов незаметно оказался на очень близком расстоянии от головы обидчика. Сделав обманное движение рукой справа, он длинным крюком ударил противника слева. Ударил в прыжке, увеличив силу весом и скоростью. Голова барабанщика взлетела высоко вверх, а потом тот безмолвно полетел спиной назад, в красную портьеру.

Первого удара Самойлов не почувствовал. Потом его начали бить со всех сторон. Он уклонялся или “отстреливался” в разные стороны. В какой-то момент они с Высоцким оказались рядом. Самойлов толкнул его к двери и ринулся следом. Кубарем слетев с винтовой лестницы, они бросились бежать к машине. За ними неслись восемь человек из оркестра. У барабанщика в руках был черный остов подставки для микрофона. И тут в воротах рядом с машиной Высоцкого остановилось такси.

Из машины мгновенно вылетели четверо таганцев во главе с Дыховичным. Литовцы, увидев подкрепление, сразу остановились. Команда театра выстроилась стенкой и приготовилась к бою. Обе группы минуту гипнотизировали друг друга. И в этот момент послышался шёпот Дыховичного:

— Спокойно, только драки нам не хватает. Завтра все газеты напишут о бандитах с Таганки.

— Что предлагаешь? — спросил Высоцкий.

— Уходим!

— Хорошо, но с достоинством, — согласился Бортник.

Все не торопясь сели в машины и медленно проехали мимо под испепеляющими взглядами литовских оркестрантов. Барабанщик сделал Высоцкому жест, обозначающий его отношение к Володе и то, что этой дракой дело не закончено. Позже зять члена Политбюро Полянского Ваня Дыховичный нередко вспоминал, как спасал Высоцкого во время гастролей в Литве.

У этой драматической истории есть продолжение: через два месяца после случившегося, по свидетельству приятеля Высоцкого Степанова, Владимир тайно приезжал в Вильнюс, пробыл там два дня, и его видели с барабанщицей. Кто-то успел их сфотографировать. Эта незнакомка оказалась необыкновенной красавицей.

Надо сказать, что у Высоцкого были самые шикарные женщины. Его женой стала французская кинозвезда Марина Влади. Один комедиограф, увидев однажды Марину Влади и окружённого дамами Высоцкого, с грустью заметил: “Женщина никак не хочет понять, что любить её вечно — вовсе не значит любить её всё время, без перерывов”.

По всей видимости, у Высоцкого бывали “перерывы”. Но к одной женщине он возвращался всегда. Она была рядом, в театре! Если бы так случилось, что Высоцкому надо было взять с собой одну женщину на необитаемый остров, нам кажется, что он взял бы только её.

В гостинице Высоцкому сделали укол, и он на сутки заснул в номере. В это время Дыховичный перегнал BMW в Москву.

Вениамин Смехов, вспоминая этот случай, сказал: “Так плохо ему ещё никогда не бывало. Он был в ужасном состоянии, рвался куда-то бежать. Если бы не Ваня Дыховичный, который находился при нём неотлучно, может быть, Владимир и умер бы тогда”.

Гастроли за границей

Таганка существовала уже одиннадцать лет, спектакли театра заслужили хвалебные рецензии корреспондентов ведущих газет мира. Но на гастроли, однако, дальше Набережных Челнов Таганка не ездила. Как пел Высоцкий: “Ох, мы поедем, ох, поколесим! // В Париж мечтая, а в Челны — намылясь...” Наконец, театр одержал маленькую победу над чиновниками от искусства: разрешили гастроли в Болгарии. Как мы помним, советского человека за границу пускали с большой осторожностью и опаской. Сперва надо было съездить в Болгарию, потом — в Венгрию, затем — в Югославию. Тот, кто оправдывал доверие, мог рассчитывать на поездку на “загнивающий Запад”.

В Болгарию Таганка привезла четыре спектакля, из которых Высоцкий участвовал в трёх — “Гамлете”, “Десяти днях, которые потрясли мир” и “Добром человеке из Сезуана”, четвёртым оказался спектакль “А зори здесь тихие”. Все пятнадцать представлений прошли с огромным успехом. И всё же самым популярным спектаклем был “Гамлет”, а самым популярным актёром — Владимир Высоцкий. Об исполнении Высоцким роли Гамлета болгарская пресса писала задолго до прибытия театра на гастроли. Эти публикации сыграли роль несколько неожиданную: несмотря на то, что Высоцкий уже был известен в Болгарии как поэт и исполнитель своих песен, в сознании многих он оказался, прежде всего, исполнителем роли Гамлета. Видимо, именно этим объясняется тот факт, что первый вопрос корреспондентки болгарского телевидения был не о песнях, а о Гамлете. Высоцкий был к этому не совсем готов. “Вы меня как-то “Гамлетом” оглушили”, — признался он позднее во время передачи, но на вопрос ответил очень оригинально, в немногих словах рассказав своё понимание этой роли: “Гамлет, которого я играю, у меня не думает, быть ему или не быть. Потому что — быть; он знает, что жить всё-таки хорошо... Но то, что Гамлета постоянно мучает какая-то раздвоенность, — значит, что-то не в порядке, если ясно, что жить — лучше, а люди всё время решают этот вопрос... Вопрос вовсе не в том, жить или не жить. Вопрос в том, чтобы не возникал бы этот вопрос”.

Во время пребывания Таганки в Болгарии фирма звукозаписи “Балкантон” предложила Высоцкому сделать пластинку. Несмотря на невероятную загруженность (запись пришлось делать ночью, другого времени не было), тот сразу же согласился, ибо впервые в жизни появилась у него возможность увидеть настоящую большую пластинку со своими песнями. Напомним, что к описываемому времени в СССР вышли лишь несколько так называемых миньонов, а о дисках, записанных впоследствии в Канаде и Франции, ещё никто и не слышал. Сказать, что идея принадлежала фирме “Балкантон”, было бы не совсем точно. В мире торжества идей социализма фирмы могли иметь какие угодно идеи, но вот только реализовывать их без разрешения высокого начальства не дозволялось. Пластинку сделали без единого дубля. Диск, получивший название “Автопортрет” (на конверте его помещен автошарж Высоцкого), вышел в свет через несколько лет. Записанных песен, однако, оказалось больше, чем поместилось на пластинке.

В Болгарии Таганка имела колоссальный успех. Зрители одинаково восторженно принимали и спектакли, и концертные выступления московских актёров. Но самым популярным среди всех был, конечно же, Владимир Высоцкий. Его успех перекрывал все мыслимые пределы, но он никогда не пользовался своей популярностью в ущерб коллегам-артистам.

Высоцкого до сих пор помнят в Болгарии, и в столице страны Софии даже появилась улица, носящая его имя. Гораздо раньше, чем у нас в Москве, где она появилась только в 2015 году!

После Софии Будапешт оказался красивым, но несколько прохладным городом. Играли практически те же спектакли, но приём был другим — сдержанным и рассудительным. Другой народ — другие нравы. Впрочем, с гастролями в Софии могут сравниться разве только что гастроли в Париже.

В Венгрии Любимов познакомился со своей будущей женой Катериной. В городе Дебрецен Катерина помогала Любимову в качестве переводчика. Именно тогда Самойлов обратил внимание на красивую молодую женщину, которая сидела рядом с шефом. Самойлов запомнил короткую стрижку, очерченные брови и лицо, целиком поглощённое тем, что говорил Юрий Петрович. В этот день у Любимова было прекрасное настроение. Он шутил, как всегда, много работал на публику, но было заметно и другое — ему нравилось общение с переводчицей. Потом был банкет, на котором Катерина вела себя очень сдержанно и умно. Её короткое выступление всем запомнилось.

Говорят, что глупые женщины влюбляются, а умные выходят замуж. В данном случае, наверное, было и то и другое. Уже тогда бросилось в глаза, что у неё определённо сильный характер. Позже этот характер узнал весь театр. Однажды буфетчица принесла наверх Любимову обед. В гречневой каше оказались две черные неочищенные крупинки. Что тут было — не пере-

дать! Но на этом хочется остановиться: “Не судите, да не судимы будете”...

Мы летели в Москву после гастролей в Югославии и Венгрии восторженными триумфаторами. Все были модно одеты, везли подарки друзьям и близким. В аэропорту нас встречали родные. Театральная труппа выходила из контрольной зоны тремя потоками. Самойлов проходил по соседству с Любимовым. Любимов был одет в новый кожаный плащ голубовато-серого цвета, пушистый седой чуб свисал на лоб. Он смотрел вдаль и кого-то из встречающих приветствовал широкой улыбкой победителя. Самойлов бросил взгляд в ту сторону. Около стены, опираясь на одну ножку и сложив руки на бедрах, стояла Людмила Целиковская. Самойлов внимательно присмотрелся и всё понял.

Единственная и подлинная муза Юрия Петровича была в ярости. Она пристально вглядывалась в лицо мужа. Он ступевался — усталая красота не могла скрыть виноватых глаз. Распрямив плечи и придерживая тяжёлые чемоданы, Любимов победной поступью пошёл к ней и вдруг на всё это щегольское выкаблучивание услышал:

— Юрка, ты что, с ума сошёл? Зачем ты нарядился, как педик?

По всей видимости, ей всё уже было известно. Вскоре они расстались, и Любимов начал свою долгую зарубежную жизнь.

В небе жизнь становится яснее

В самолёте рядом с Самойловым расположилась супружеская пара. Пожилой мужчина был высоким, худым, в роговых очках. Тонкое нервное лицо обрамляла чуть намечавшаяся бородка. Спутница его была, очевидно, больна, опиралась на костыль. Самойлов ответил на короткое приветствие и продолжил читать газету. Мужчина изысканно устраивал перелётный быт: на маленьком столике появилась минеральная вода, несколько конфет и кисть винограда. Женщина с увядшим, когда-то очень красивым лицом, на котором теперь застыла гримаса недуга, привычно руководила мужем, и он охотно исполнял любое её желание. Наконец, они устроились и только тогда вежливоотреагировали на появившееся из-за газеты лицо Самойлова. Вскоре женщина затихла в уголке у окошка.

Сосед вышел и, вернувшись, снял пиджак, чтобы прикрыть задремавшую спутницу.

— Я бы вам советовал попросить одеяло. У окна холодно. На этом рейсе дают. Нам четыре часа лететь.

— И то правда, — с какой-то детской благодарностью откликнулся мужчина. Стюардесса принесла одеяло, и он бережно укутал женщину. — Сразу заметно, что вы человек, любящий уютом и благоустроенность.

— Почему вы так решили?

— Смеею надеяться — наблюдательность. Вы — лидер. Решили поговорить, и у вас всё получилось. Я откликнулся. Разговориться — это значит разорвать путы, избавиться от одиночества, в котором мы от колыбели до последнего вздоха, не правда ли?

— А поделиться своей удивительностью — разве это не главная цель? — весомо перебил Самойлов.

— Конечно, и это тоже. Есть редкий тип людей, с которых сорвать печать молчания — мука невообразимая. К этому типу, по-моему, принадлежите вы. Конечно, условно и... недавно.

— Вы что, экстрасенс?

— Нет, я — священнослужитель. Лечу из Крыма на конференцию в Алма-Ату. Жена всегда рядом.

— Вы сказали, что я принадлежу к какому-то типу условно и недавно? Почему недавно?

— Вы очень напряжены. У вас одна и та же поза. Даже лист газеты вы переворачивали почти судорожно. Вы боитесь оторваться, потому что придут мысли, которые вас беспокоят.

— Да, отменная наблюдательность. Это плод знания или духовной проницательности?

— Конечно, и знаний. Но не главным образом знаний.

— И всё это вы сумели заметить за тот короткий срок, пока я сидел рядом с вами?

— Ну, положим, не такой короткий.

— Да ведь вы даже моего лица не видели! — воскликнул Самойлов.

— Нет, видел. В каждом человеке есть Божье святилище. Оно во всем: в лице, в походке, во взгляде, но больше всего — в выборе поступков. У Господа нету выбора, поэтому каждый ступивший мимо сразу может быть замечен.

После этих слов Самойлов заново присмотрелся к этому неожиданному попутчику. Слова у соседа были намагничены живой энергией вдохновения. Особенно хороши показались его глаза: серые, несущие черты нелёгкой, шероховатой и глубоко выстраданной жизни. Самой удивительной в нём была манера общения: он не учил, а выстраивал, как в литургии, то, что, казалось, Самойлов хорошо и давно знает с самого рождения.

— С вами легко говорить, такое впечатление, что вы подслушиваете мысли.

— Нет, в этом нет необходимости. Человеческое лицо — это такой экран, на котором при желании всё можно прочесть.

— Видите ли, моя профессия — это как раз научить прятать лицо за спиной поступков. И жизнь так устроена, что одно мы думаем, другое говорим, а делаем нередко третье.

— Это явление временное. Рука невидимого садовника, формирующего генеалогическую крону человечества, подрезает и отсекает ветви, не соответствующие задуманному образу.

— Ну, это уже какая-то мистика.

— Правильно. Человеческая жизнь, её существо, экзистенция кроется не во внешних обстоятельствах, а в мистических свойствах человеческих судеб.

— Один из лучших писателей прошлого века воскликнул, что не нужен ему рай, если он построен на слезе одного ребенка. С тех пор человечество дожило до атомной бомбы, звёздных войн, человечество думает о военной программе для защиты против инопланетян. Как все это сшить с некой божественной режиссурой, которая голодных не кормит, больных не лечит, а кукловодов оберегает? Где же выход? И есть ли он вообще? — устался Самойлов на собеседника.

— Выход есть. И он в нас самих. В геноме человека есть “взрывной код”. Каждый наш неверный шаг, преступление не остаётся неотмеченным. Ты преступил, но не заметил, что началась психическая и физиологическая реакция, после чего изменяются процессы жизнедеятельности, наступает болезнь, гибель или безумие.

— Значит, этот снежный ком мы не можем остановить? Так, что ли?

— Совершенно правильно. Не можем, но должны.

— Но многим людям так проще, и кому-то так это выгодно. Опустившимися маргиналами легче управлять.

— Абсолютно правильно. Сатанизм имеет всё: и средства, и последователей, и цели. Но сопротивление ещё очень велико, и в этом главная надежда на спасение.

— Значит, пора ударить в великий колокол идеи, так, что ли?

— Вы хоть и иронизируете, но совершенно верно — пора.

— Ну, что ж, вы меня уговорили. Хотя верю я, скажем так, кустарно, от случая к случаю. И сучу ручонкой от лба к пупу тоже не всегда. Чаще даже лукаво.

— Хорошо, что признаётесь. Значит, ещё не всё потеряно, — весело засмеялся сосед.

— Не знаю, но говорю честно, что чувствую. А вот что для вас религия?

— Религия — это высшая форма философии. Царство Небесное — это не что иное, как будущее.

— Интересно, а кому принадлежит это будущее? Посмотрите, как стягивается капитал мира в ограниченный и неприступный круг особых людей, как по мановению дирижёрской палочки сменяются правительства, сметаются

премьеры, президенты и государства. Вы говорите, сопротивление велико, а мне кажется, что оно бессмысленно.

— Я вас очень хорошо понимаю. Не исключено, что такой конспиративный створ и существует, потому что дискредитация Духа Божьего идёт постоянно. Порнография, извращения, проповедь сатанизма — всё это подогревается и кем-то, безусловно, внедряется. Но апологеты этого — не черти из табакерок, они — люди. Они платят за это достаточно дорогой ценой: за кнут, награбленное богатство платят потомки — своим бесплодием и вырождением. Но не думайте никогда, что Бог отвернулся от нас. Он отпустил узды, а мы устремились по ложной дороге. Его право — наказать нас за неправильно использованную свободу.

Стюардессы начали раздавать еду, и разговор прервался. Самойлов почувствовал такой голод, что на выданный в пакете горячий обед набросился, как волк. Увидев его аппетит, сосед предложил дополнительные два куска мяса.

— А вы что, не голодны или, простите, вегетарианцы? — спросил Самойлов.

— Да нет, сегодня четвёртый день поста. Не беспокойтесь, у нас кое-что припасено.

Спутница проснулась и положила в пластмассовую коробочку два больших крымских помидора и по пирожку с капустой.

— Как же вы держитесь, ведь на этом долго не устоишь? Или святым духом питаетесь? — пошутил Самойлов.

— Именно Святым Духом, — обрадовался сосед.

— И что же это такое? Опять эзотерическое начало? — с иронией утавился на соседей Самойлов.

— Вы хотите знать, что такое Святой Дух? — переспросил мужчина. — Это Творец, истинный Бог, единосущный и равнославный Отцу и Сыну.

— А как это проявляется в людях?

— Можно сказать, что Святой Дух, вселяясь в человека, развивает его до состояния Божественности и обретения в Себе вечного.

— Но тогда таким людям ничего не страшно? — с нарастающим интересом спросил Самойлов.

— Практически ничего.

— И они всё побеждают?

— С ними не борются, им уступают. Потому что они разумно действуют с каждым человеком, никого не смущая и не огорчая.

— Спасибо! Извините меня, что задаю вопросы, на которые в моём возрасте давно уже надо знать ответы.

Самойлов опустил ниже кресло и замолк. Удивительно, эти несколько минут общения с незнакомым, но сердечным человеком сделали невозможное. Самойлов вдруг отчётливо понял, что ему надо делать, где искать единомышленников и друзей и, главное, что он будет стоять на своём до конца! Ему либо уступят, либо он уйдёт из этого театра. Ему стало легко и ясно.

Он стал перебирать в памяти всё, что случилось в этой поездке, и припомнил свою беседу с Любимовым.

Годы прошли, а чувство зависимости не покидало его.

“А может, так и должно быть? — думал он. — Есть люди, которые однажды прикоснулись к тебе волшебной палочкой, и ты стал тем, кем суждено тебе быть”.

Там, где эта привязанность предаётся, появляется наваждение, которое всё омрачает в театре жизни. Только теперь Самойлов понимал, что жизнь, прожитая в золотую пору Таганки, — это больше чем ученичество. Это — врождённая, детская преданность Матери, должность которой пожизненная.